

Евстафий идет от действительности, противоречащей аскетическому идеалу.

Итак, признавая прекрасным также и телесную красоту, Евстафий приходит к допущению совершенства и в изменчивом, подвижном мире: Мануил прекрасен в спокойствии, но прекрасен и во гневе, — где же истинное, единственное, стабильное совершенство?

В духе христианской традиции, в полном соответствии с учением мистиков Евстафий восхваляет любовь как высший жизненный принцип: ради нее, оказывается, установлены законы, созданы государства, придуманы союзы, введено все то, что упорядочивает жизнь (Opusc., p. 158.55—57). Во имя любви приходил к нам господь, научивший нас объединяться, словно мы члены и части божества (Opusc., p. 62.69—70). Любовь приносит мир, обращается Евстафий к солунянам, а с ней расцветают всевозможные ремесла и науки, укрепляются браки, крепнет торговля и расширяются ярмарки (Opusc., p. 63.10—14).

Однако действительность, как мы помним, многообразна, и Евстафий предупреждает, что не всякая любовь хороша, ибо развратник тоже любит распутство, убийца — кровь, а вор — кражу (Opusc., p. 63.46—50). Кто именуется любовью несправедливые вожделения, тот просто пользуется честным названием, чтобы прикрыть свое нечестие (Opusc., p. 63.63). Но оставим в стороне жгучую любовь. И настоящая любовь, по Евстафию, двояка: бывает любовь замкнутая, сосредоточенная на себе (αὐτοπαθήτης) — и любовь, обращенная вовне (Opusc., p. 69.93—95). Любовь замкнутая состоит в благочестивой жизни, в постах, в удалении от мира, в обращении к богу. Но такое монашеское пустынножительство, такой аскетический вариант любви не привлекает Евстафия — его симпатии на стороне того, кто не прячется от людей и от самого солнца, но несет свой свет во мрак жизни (Opusc., p. 70.12—18). Нам недостаточно, развивает он далее эту мысль, уклониться от зла — необходимо творить добро (Opusc., p. 73.93—95). Евстафий стоит за активное вмешательство в жизнь.

Он открыто осуждает тех, кто сломя голову бежит от зла в надежде на собственное спасение, как будто одним только бегством от мира можно достичь совершенства (Opusc., p. 76.43—46). Он смеется над анахоретами, забивающимися в «духовные уголки», в пещеры и расселины земли, пребывающими в горах (Opusc., p. 77.74—76). Места их уединения он сравнивает с золотыми россыпями, изобилующими драгоценным металлом, который не раскрывает себя, не превращается в человеческую монету, но остается во глубине руд (Opusc., p. 77.72—77).

Если важна любовь деятельная, любовь мирская, то не остается места для религиозного ригоризма: нет необходимости предъявлять к себе непременно максимальные требования, наставляет Евстафий свою паству, и если у тебя нет сил поститься, ограничься умеренностью в еде (Opusc., p. 11.82—83); не пренебрегай умыванием — быть чистым не возбраняется (Opusc., p. 11.91—95); если тебе трудно выдержать продолжительное богослужение, молись, когда есть возможность, — в любой час можно славить господя (Opusc., p. 12.9—15).

Обрядность отступает в его наставлениях перед нравственностью. Конечно, заявляет Евстафий, отдавая долг традиции, велика польза от коленопреклонений, пролития слез, исполнения трудных обрядов, от которых дрожат конечности, — но человек, живущий смиренно, разве не достигает того же (Opusc., p. 11.41—44, 61—64). «Пусть вам будет, братья, смирение взамен коленопреклонений» (Opusc., p. 11.67—68).

Да, Евстафий признает в духе христианской традиции, что пост освобождает нас, отрывает от земли, уподобляет пернатым, славящим господя, и все же пост лишь приправа к добродетелям и придаток к созданной ими красоте (Э, л. 39). И тут же со всей страстностью Евстафий обрушивается, на тех, кто хотел бы постом заменить недостаток добродетели.